Créme de la Créme

Хуан Гойтисоло

# ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

*Перевод с испанского*
*Н. Матяш*

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.7 Исп

*Juan Goytisolo*
***Telón de boca***

В оформлении обложки использован рисунок
Туайен из цикла "Прячься, война!" (1944)

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка и обложка: Дарья Протченкова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

©Juan Goytisolo, 2003
©Н. Матяш, перевод, 2012
©Kolonna Publications, 2012

ISBN 978-5-98144-157-8

Вот эту-то смерть и напомнил мне
раздавленный репей среди вспаханного поля.

Л.Толстой. *Хаджи-Мурат*

# I

Много месяцев его мучила бессонница. Он давно уже пристрастился к снотворному и теперь принимал по три таблетки, но это не помогало. Друг-фармацевт предупреждал, что он привыкнет к лекарству и память ухудшится, но никакие уговоры не действовали на него: он-то как раз считал, что только потеряв память, и можно спастись. Он пробовал гулять перед сном; отправлялся пройтись и бродил, бродил, в потёмках среди осколков дневной жизни Площади до полного изнеможения. Дома принимал снотворное и без сил валился в постель, но сон не шёл, и он ворочался, пока не наступал неумолимый рассвет.

Потом пришла новая напасть. Маясь бессонницей, он всё чаще стал слышать песенки и незатейливые музыкальные мелодии. Ничего странного, если бы в ушах у него звучала музыка, которую они с ней так любили слушать после ужина: сонаты Шуберта, «Дон Жуан» или «Масонская ода» Моцарта, оперы Верди, «Немецкий реквием» Брамса. Но нет, приходили незваные гости – низкопробная бравурная музыка, которая беспрерывно лилась из репродукторов в тот год, когда закончилась война и он вместе с отцом и братьями вернулся в родной город. Гряз-

ная пена того далёкого времени – словно где-то распахнулись створки дамбы и хлынула застоявшаяся прогнившая вода со зловещим запахом угнетения и нищеты – накрывала его с головой, и ничего не оставалось, только покориться. Он слушал гимн Фаланги, гимн рекете*, гимн Испании в обработке Братства святой Девы Марии и визгливый голос певички Рины Сели. Приливом, несущим вперемешку водоросли, морскую траву и отбросы, которые оседают потом на отмелях, накатывали на него плотные волны назойливой и бессмысленной радиорекламы, забивая голову мусором: песенкой о кофе «Колумба» или о новом жилом районе Ла-Миранда. Их сменял перечень школьных приятелей или полный список игроков футбольной команды, который когда-то без конца твердил старший брат. И как он ни старался, отрешиться от них не удавалось.



Он считал, что с детством давно покончено, и это возвращение в прошлое его потрясло. Мелодии возникали в сознании сами, против его воли, и уже не отпускали. Иногда он слышал франкистский гимн «Лицом к солнцу», иногда «Ориаменди»** или гимн Испанского Легиона, и не было спасенья от их назойливого жужжанья. Он старался отмахнуться – так отгоняют мошкару, – но, сколько ни бился, слова и звуки не уходили.

---

* Солдаты армии карлистов, сражавшихся в XIX в. за передачу престола сыну короля Карлоса IV (1788-1808); впоследствии – воинские формирования, принимавшие участие в гражданской войне на стороне франкистов. *Здесь и далее прим. перев.*

** Марш, написанный в честь победы карлистов у горы Ориаменди в 1837 г.; считается гимном карлистов.

Возможно, они были предвестниками старческого слабоумия? Порой ему казалось, что да, и тогда обречённость охватывала его. Было что-то общее между его утратой и тем далёким временем, когда в знак приветствия вскидывали руку и в ходу был имперский язык, временем стремительных завоеваний фюрера и религиозной восторженности иезуитской школы. Что-то непонятное, таинственное, связывало их, но что? Может быть, возвращаясь к детству, к символам и характерным приметам тех лет, он бессознательно пытался уйти от своего горя, заслонить его, пытался выжить вопреки всему? Никак иначе не мог он объяснить навязчивое вторжение ненавистных мелодий и бездарных песенок.



Кое-что прояснилось после разговора с её лучшей подругой в одну из редких теперь поездок в тот мир, который больше не существовал для него. И в детстве, и сейчас он остро ощущал свою бесприютность. И когда вдруг, внезапно, не стало той, к кому он был так привязан, душа вспомнила глубоко запрятанное давнее горе, и всколыхнулись, выступили на поверхность ускользнувшие в подсознание образы того времени, когда не стало матери. Он понял, что, преодолевая боль недавней раны, поневоле возвращался к старой.

* * *

В доме поселилась смерть, и не только за ним она пришла. Как-то утром земля в саду оказалась усыпана мёртвыми бабочками и стрекозами, жертвами непонятной болезни. Потом он нашёл на земле мёртвую птицу из той большой стаи, что с наступлением темноты устраивалась на ночлег в ветвях апельсиновых деревьев. Ещё раньше умерла одна из двух черепах. Он заметил, что в углу, куда она обычно забивалась, копошатся муравьи, и поразился, обнаружив её окоченевшее тельце: он считал, что черепахи живут больше ста лет, и был уверен, что они протянут дольше него. А теперь остался только безутешный вдовец; он избегал того места, где умерла его подруга, и вяло съедал ежедневную порцию салата и мелко порезанных фруктов. Надо бы найти вдовцу новую подругу, подумал он, но лучше подождать, пока горе уляжется.

Пол умершей черепахи выяснился случайно и с большим запозданием. Она жила у него несколько лет, и он не подозревал, что это самка. Но однажды, сидя за рулём своей малолитражки, увидел за городом прямо на шоссе черепаху. Он остановился, вылез из машины и, повинуясь вне-

запному порыву, взял её с собой. Дома новичок приблизился к его питомице и, не тратя времени на то чтобы заслужить её расположение, загнал в угол. Их соитие производило впечатление. Самец пару раз сильно долбанул панцирь самки, пытаясь взобраться на неё, но потерпел неудачу, отступил и несколько раз повторил свою попытку. «Ты бы возмутилась, увидев, как грубо он себя ведёт, – рассказывал он ей по телефону. – Это была sui generis порнографическая кассета из Амстердама». – «Ну и выгнал бы его, – засмеялась она. – Если узнают мои подруги, они тебе покажут». – «А ты не рассказывай, – сказал он. – Я займусь его воспитанием, и в следующий раз он будет вежливее». Но такой возможности ему не представилось: соитие не повторилось. Черепаха отложила яйцо и закопала его в саду под апельсиновым деревом, но яйцо почему-то сгнило. По-видимому, это охладило пыл самца, и с тех пор черепахи мирно жили рядом, не трогая друг друга. Приехав на несколько дней из Европы, она осталась довольна и похвалила его педагогические способности. Какое-то время все, казалось, были счастливы, и буйство лета сменялось зимней сонливостью. Так прошло несколько лет, а когда черепаха умерла, уже не было той, кому он мог рассказать об этом.



Тут, одна за другой, пошли смерти и пропажи: на террасе нашли дохлую птицу; умер живший на их улочке его любимый кот; прилетел и скоро покинул гнездо аист. Начались нелады и с домом: лопались трубы, по стенам и потолкам множились трещины. Эта череда зловещих знаков вгоняла его в тоску. Неужели существовала тайная связь между тем, как начал сдавать он сам, и упадком всего, что составляло его мир?

Уверен же он был только в одном: тени сгущались, а материя таяла.

* * *

Он сравнивал свою жизнь, то, что от неё ещё оставалось, с велосипедным колесом, замедляющим свой бег, если крутить педали еле-еле, без прежнего задора. То же происходило и с ним: движения его становились размеренными, неторопливыми, а сам он – неповоротливым. Всё теперь требовало усилий: встать с кресла, в котором он обычно читал газеты, подняться по лестнице на террасу, пройтись, как делал он каждый день, по Площади, поболтать с приятелями. Он стал хуже слышать, особенно высокие звуки. Он слышал голоса детей, но не различал слов, и это особенно его огорчало: он испытывал идущую из глубин своего существа потребность разговаривать с ними. Всё шло так, как обещал врач: сначала он перестанет понимать магнитофонные записи на иностранных языках, потом – нечёткую речь и отдельные фразы, затем станет трудно различать слова, произнесённые в шумных и людных местах. «Кроме того, глухота у вас в роду, – добавил врач и посоветовал купить слуховой аппарат. – Если вы к нему привыкнете и научитесь следить за движениями губ говорящих, вам будет легче понимать их». Но он совсем не был уверен, что хочет понимать, – ему достаточно

было слышать привычный гул завсегдатаев кафе. Она первая это заметила и сказала ещё давно: «Тебя устраивает глухота. Ты всё больше и больше уходишь в себя, а другие, и я в том числе, только прерываем что-то. Да, пожалуй, именно так – мы тебя прерываем».

Разве окружающие что-то прерывают? Впрочем, пожалуй: люди прерывали истончившуюся нить его беспорядочно блуждающих мыслей. Но теперь он уже не знал, стоят ли чего-нибудь эти мысли. Он начал отдаляться от мира, и сомнений в том не оставалось: это читалось во взглядах, в уважении и подчёркнутом внимании окружающих. Сначала это его задевало: он ещё не чувствовал себя стариком и готов был доказать это всем, в том числе и себе самому. Он старался держаться прямо и ходить быстро, не остерегаясь ни яростного потока машин на прилегающих к Площади улочках, ни неожиданно выскакивающих грузовиков и повозок, но потом отказался от этого бессмысленного тылового боя. Самому себе он напоминал садовые растения, которые сначала зеленеют и цветут, а потом никнут и желтеют. Но каждый год садовник подрезает их, и они оживают, покрываются листвой. Почему растениям это дано, а людям – нет? Сравнение было детским и глупым, но не шло у него из головы. Он думал о фазах жизни вьющегося по стене дома плюща или кустарников, росших в саду в высоких горшках, сравнивал их между собой. Каждый организм проходил все положенные ему циклы – кто быстрее, кто медленнее – и угасал. Только растения и животные не знали, что они угасают, а вид, к которому относился он – бесчеловечный, – знал. Мысль, что придётся уйти из этого мира, его ужасала, но не своей неизбежностью – это как раз было в по-

рядке вещей. Ужасало, что уйти придётся, так и не разгадав смысл, возможно, заложенный в жизни. Попытка постичь его обернулась бы отстранением от самой жизни и её ритмичности; стремление к познанию заставило бы забыть всё, что он знал, в чём был уверен. Ничего не оставалось от него, лишь тень на оконном стекле поезда, мчащегося в неизвестность.

* * *



Жизнь делилась на «до» и «после». И жизнь ребёнка, неожиданно лишившегося материнского тепла, и жизнь старика, душа которого пропиталась известием о её смерти и который, пережив самого себя, существовал теперь на развалинах построенного ею дома, не вполне сознавая, что сам он тоже мёртв.

Дряхлый нищий пел, опираясь на посох. Он брёл, сантиметр за сантиметром продвигаясь сквозь толпу праздных или деловито снующих людей, и никому не приходило в голову обратить внимание на то, как медленно он передвигается. Сидя на табурете приятеля-букиниста, он следил взглядом за нищим, то и дело отвлекаясь, чтобы перекинуться словом с букинистом, выпить глоток воды или чая, посмотреть на пустячное уличное происшествие, вызванное «мерседесом» какого-нибудь богача с наглой рожей. Взглянув на нищего опять, он каждый раз убеждался, что тот не одолел и метра. Сколько времени он будет идти до Площади? Живёт он неподалёку или ему нужно пересечь гудящую от голосов, шума и криков зазывал, Площадь, и ни одна дружеская рука заботливо не поддержит его, подсказывая путь?

Словно дряхлый нищий, почти не двигаясь с места, продвигался и он к ясно обозначенной, но ускользающей цели. И неведомо было, удастся ли ему самому с миром и достоинством достичь другого берега Площади. Возможно, это знали Единый или Мефистофель, но они не собирались открывать ему эту тайну. Через несколько минут, потеряв нищего из виду, он спохватился, что так и не помог тому. А ведь хотел, но не поднялся с

места. Наверное, Единый или Мефистофель смеялись над ним, над бесплодностью его порыва, но кругом были верующие, поэтому он не стал пререкаться, отложил спор с ними – научный или философский? – до другого раза.

* * *



Жизнелюбие её било через край, она умела хранить верность друзьям, любила пляжи и солнце, увлечённо собирала зеркала, пепельницы, пресс-папье и прочие безделицы, изящные и безвкусные. Что это было, как не попытка обозначить свой путь камушками, оставить память о себе? Путь, который неминуемо вёл к угасанию, к концу короткого и яркого сна.

С течением времени объединявшее их раньше пространство начало сужаться. Наступила пора, когда он стал плохо переносить солнце, и пляжи, сначала средиземноморские, а потом и бретонские, перестали существовать для него. С тех пор, взяв свои шляпы, книги, блокноты, полотенца, соломенные подстилки, она ходила купаться одна, а он заходил за ней, чтобы вместе пообедать или вернуться в гостиницу.

Он стал меньше бывать на людях. Теперь они приглашали к ужину только несколько человек, обычно одних и тех же. Работали они в разное время, а по вечерам она ходила в кино с кем-нибудь из подруг, он же любил пройтись по близлежащим улочкам или, сев на метро, доезжал до своих любимых парижских кварталов около станций «Северный вокзал» или «Барбе».

Один жестокий удар судьбы – и всё потемнело вокруг: он снова видел лишь засохшие сады, разрушенные стены, изъеденные червоточиной деревья да чёрную дамскую шляпу и одинокую шерстяную пинетку, сиротливо лежавшие в грязной луже. Беречь было нечего, даже воспоминания стали не нужны. Кому пришла в голову пагубная мысль измерять ход времени, подчинять свою жизнь смехотворной тирании часовых стрелок?

* * *



Неожиданно он понял, что хочет избавиться ото всего. Речь не шла о том, что стало ненужным – с этим он расстался, как только минуло тридцать дней. Теперь избавляться надо было от дорогого, от того, что приходилось отрывать от себя с болью в сердце, – от их общих увлечений. Всегда наступает минута, когда путешествующим на воздушном шаре, чтобы продолжить путь, приходится выбросить за борт балласт. Чем меньше привязанностей он сохранит, чем меньше воспоминаний у него останется, тем легче будет проститься с этим миром и уйти налегке.

Кино было их общим увлечением. Она каждый день ходила на первый вечерний сеанс, и пару раз в неделю он составлял ей компанию. Обычно они выбирали какой-нибудь кинотеатр поблизости, но таких оставалось всё меньше, поэтому иногда они садились в автобус и доезжали до Елисейских полей или Монпарнаса. Он вспоминал, как горячо она отстаивала фильмы Лоузи и Феллини, как сдержанно относилась к Рене и Бергману. Он не мог себе представить, что идёт в кино без неё: входит в зал, словно в храм, устраивается в кресле, листает журнал, пока не погас-

нет свет. В последний раз они видели иранский фильм; жестокий и правдивый, он напомнил им раннего Росселини. Это был конец – целый пласт его жизни ухнул, и возврата к нему не было: он стал областью света, вход куда был ему заказан. Жестокостью, едва ли не кощунством, казалось ему погрузиться в полумрак кинозала без неё, даже с близким человеком. И перед тем как навсегда уехать из их квартиры, все видеокассеты, которые они с ней насобирали, он раздал друзьям, чувствуя себя так, словно ему отрезают руку или ногу; легче стало потом, когда всё было позади. Так же поступил он и с музыкальными дисками. В оперу или на концерты они никогда не ходили, но у них собралась прекрасная коллекция музыки, и им было из чего выбирать, когда вечером, после ужина, хотелось послушать что-то любимое.



У неё было много пристрастий, и она легко переходила от одной музыки к другой; он же предпочитал по несколько раз слушать одно и то же. Вокальное искусство, особенно сопрановые партии, было для неё верхом художественного совершенства, и постепенно он научился разделять эту страсть. Пока звучали Моцарт или Верди в их любимом исполнении, они читали, разговаривали, а когда начинало клонить в сон, аккуратно убирали диски на место и расходились по своим комнатам.

Оставшись один, он долго колебался, раздавать ли диски: они были неотъемлемой частью его жизни. И всё же решил обойтись без этой крупицы счастья – ещё один балласт был сброшен в пустоту со смешанным чувством боли и облегчения: ему оставалось немного, и надо было избавляться от лишнего. Когда он оглядывался на пройденный путь, жизнь представлялась чередой

расставаний с тем, что он считал своим, и что на самом деле ему не принадлежало. Ничего не удержал он, ни унаследованного им когда-то добра, ни идей, – совсем ничего. Не было ничего общего между ребёнком, юношей, зрелым человеком и немощным телом, к которому он раздражённо приноравливался. Только имя и фамилия, но что они могли сказать о нём? Он уже не был самим собой, от него прежнего осталась лишь оболочка: после её ухода всё стало мелким и пустым.

* * *

Когда он смотрел на детей, возвращающихся из школы с рюкзачками, набитыми учебниками и тетрадями, или гоняющих на велосипедах под апельсиновыми деревьями, он силился вспомнить то, что безвозвратно ушло из его жизни вместе с детством: как он играл или ссорился с братьями, как перед ним, знавшим только родной дом и семью, постепенно открывался большой мир. Но старался он напрасно: всё забылось. Он не мог вспомнить, как мать брала его на руки, в памяти остался лишь размытый её образ, который не имел к нему никакого отношения. Лёгкость, с которой дети забывают, казалась ему жестокой и несправедливой: разве можно обрекать на небытие единственное время полной самоотдачи, время полного, пусть и недолгого, счастья? Сейчас старшим мальчикам было почти столько же, сколько ему, когда не стало матери. Эти дети, которых он усыновил, чтобы заполнить пустоту, были его последним редутом перед неотвратимой дряхлостью. Неужели они забудут, как сильно любили его, как каждый день кидались ему на шею? Очевидность этого угнетала, и поверить в неё до конца он всё же не мог.

Он решил сфотографировать детей и самому сняться вместе с ними в каникулы или когда они куда-нибудь поедут все вместе. Можно было также сфотографировать их в школьной форме или в какой-нибудь особый, торжественный день. Он обманывал самого себя, думая, что по фотографиям им будет легче вспомнить его, когда он уже уйдёт со сцены. И весёлые, счастливые мордашки заняли своё место на застеклённой полке в его рабочем кабинете рядом с фотографиями других дорогих ему людей. Никого из них давно уже не было, и жестокое время стёрло память о них: он один знал, чьи это фотографии. А когда не станет и его, никто уже не сможет назвать имён этих людей. Бог был бессилен превратить когда-то существовавшее в небывшее, но это было под силу забвению.

* * *

Он вспомнил, как в трудную минуту загорелся идеей призрачного потустороннего опыта. У Сан Хуана де ла Крус* искал он утешения в тревожные дни: симптомы болезни, подхваченной им в долине Нила, походили на симптомы пандемии, косившей всех вокруг. Тогда он испугался, что и в его крови поселился чудовищный микроорганизм, быстро и яростно разрушающий лимфу живых существ, – так описал эту болезнь один из его друзей. Боясь беспощадного приговора, он не решался сдать анализы. Тогда-то и родилась в самых глубинах его души потребность в поэзии. Может быть, за прозрачностью и блеском «Духовной кантаты» скрывался достоверный опыт личного познания человеком той области, где нет места разуму с его логикой и топтанием на месте? В те несколько недель он извёлся от снедавшей его тревоги, но всё это время работал с необыкновенным подъёмом и очень много написал. Он был убеждённым агно-

---

* Хуан де Йепес, обычно называемый Сан Хуан де ла Крус (1542-1591), крупнейший испанский поэт-мистик, монах ордена кармелитов; центральная мысль его произведений, в первую очередь, «Духовной кантаты», – слияние индивидуальной души с Богом.

стиком, но что-то в душе его сопротивлялось неверию, а иногда, думал он, надо слушаться и голоса сердца. От природы очень сдержанный во всём, что касалось его самого, он переменился тогда настолько, что этого нельзя было не заметить, и пораженные близкие недоумевали: неужели неожиданную опору он нашёл именно в духовности, пусть и в самых прекрасных её проявлениях? Когда анализы, сделанные в лаборатории неподалёку от дома, оказались отрицательными, у него с души словно камень свалился. Но поэзия мистиков, которой он насквозь пропитался, сделала своё дело: и без того склонный к замкнутости, чурающийся шумного общества, он ещё больше ушёл в себя. Была ли его мизантропия противоядием от удобного и довольного собой мира, в котором он жил? Как-то она сказала: «Живя с тобой, свыкаешься с одиночеством. Не знаю, благодарить тебя за это или упрекать».



Слова эти, сказанные мягко и невзначай, потрясли его. Постепенно он стал забрасывать книги и всё чаще окунался в жестокость окружающего мира: ездил в осаждённые города, туда, где шла война, на Кавказ с его варварством и неистовством, великолепно описанными Толстым. Она восхищалась его равнодушием к опасности во время этих поездок, и ей не приходило в голову, что причина такого спокойствия – она сама: случись что-нибудь с ним, она бы выполнила всё, что он завещал, и заботилась бы о детях. Он слепо верил, что уйдёт со сцены первым, и случившееся застало его врасплох. Будущее, продуманное до мелочей, рухнуло, и он стал уязвим. Теперь он вёл себя совсем иначе – им овладел необъяснимый страх, с которым он не мог совладать: он боялся поездок, боялся упасть на улице, быстро

подниматься по лестнице, самым глупым образом попасть под машину. Этот удар камня на камне не оставил от его мистических настроений. Она уже перешла черту, и он – сначала недоверчиво, а потом с болью – убедился в непереносимой правде: её больше не было. Он уже не блуждал в будущем – теперь он вспоминал прошедшее; сны его превратились в кошмары, внутренний мир сжался, исполнился горечи.

* * *



Была ли его жизнь смешением ошибок и правильных решений? Или правильные решения принимались лишь изредка, в промежутках между ошибками? Вспоминая их общее прошлое, он чувствовал вполне понятную растерянность: время шло, и чем дальше, тем сильнее всё расплывалось. Её записные книжки и блокноты, торопливые, неразборчивые пометки, которые он с трудом разбирал, не помогали ему восстановить события. Подлинным богом было забвение, с всесилием которого ничего не мог поделать всемогущий Создатель, не говоря уже о его недолговечных порождениях.

Их судьба – её, его и всех обитателей платоновской Пещеры – напоминала ему участь репья, образ которого преследовал Толстого. Непокорный, упрямый репей и он пытался найти в горах Кавказа, когда ехал в Шатой на дребезжащей машине по разбитой проселочной дороге. Если напрячь зрение, то внизу, под горою, можно было разглядеть БМП и танки, подбитые и сгоревшие во время боя: они попали тут в засаду, как и царские войска полтора века назад, – снова, в который раз, он убедился, что История повторяется с бессмысленной и тупой жестокостью. В Аргун-

ской долине всё цвело. Солдаты остановили их и начали клянчить сигареты, и тогда через переводчика он попросил показать ему репей. Солдаты не смогли, и потом он повторял эту просьбу на всех блокпостах, попадавшихся им по дороге, но ничего не добился. Дорога шла через лежавшее в руинах село, разрушенное совсем недавно. Это пепелище подтверждало его убеждённость: он принадлежал к самому злобному и опасному виду во

Вселенной. Раздавленный репей с его увядшими цветами вырастал до символа: репей переехала та же бездушная повозка, что косила одну за другой человеческие жизни.

* * *



Прошлое превратилось в цепочку блеклых, застывших образов, как будто их показывали на экране через диапроектор. И отступая всё дальше и дальше во времени, они расплывались, теряли чёткость, делались неузнаваемыми, и тут он был бессилен. Кто это? Всеобщий баловень, ребёнок, которого до войны всегда привозили на лето в семейное поместье, или мальчик, вдруг оставшийся без материнского тепла? Подросток, зачитывавшийся найденными в домашней библиотеке книгами по истории и географии, или воспитанник школы, где отцы-иезуиты забивали ему голову чуждыми и бесполезными идеями? А это? Юноша, притворявшийся верующим и лицемерно причащавшийся, или человек, втайне одолеваемый бесконечными сомнениями? Скептический студент, тянущийся к искусству, или человек, который стыдится своих тайных желаний?

То и дело что-то заедало в диапроекторе, и пустоту экрана заполняла ненасытная тьма. В жизни его отсутствовал стержень: действующие лица появлялись и исчезали поодиночке и компанией, но связи между этими немыми кадрами не было. Он не мог вспомнить их голосов, а когда пы-

тался, они звучали фальшиво и никак не вязались с жестами и мимикой персонажей. Ему хотелось думать о ней, но чтобы оживить в памяти её улыбку или грустное выражение лица, приходилось смотреть на любительские снимки или портреты, сделанные профессиональными фотографами. Но не подводила ли его память, преуменьшая её доброту и отзывчивость? Она отступала всё дальше, и неумолимое время, жестокая власть живых над беззащитными мёртвыми усиливали его горечь. Напрасно слушал он голос, записанный на плёнку, или искал её в своих снах.



Куда она делась?

Ответа не было.

Сохранились только её письма и отпечатанные на машинке странички, но читать их он пока не мог.

Иногда что-нибудь отвлекало его, тогда диапроектор останавливался: некстати звонил телефон, и, сняв трубку, он слышал голоса из другого мира. Или на экране телевизора возникали изуродованные, обезображенные тела людей, навечно поселившихся на каком-то гротескном кладбище. Вдали воинственно звучала барабанная дробь, призывая к ненависти. Тьма сгущалась вокруг него, и сам он медленно погружался во тьму.

## II

Мечта отца обеспечить будущее детей – его и братьев – включала в себя и заботу о том месте, где надлежало им жить. Отец хотел устроить всё сам, и устроить как следует. Им предстояло получить образование и профессию, залог надёжного будущего, но он думал и об имуществе, которое оставит им в наследство. Главным их достоянием было родовое поместье с живностью – коровами, курами, мулами – и землёй, на которой росли фруктовые и пробковые деревья, выращивались овощи, разбивались виноградники и вспахивались поля под кукурузу. Кроме того, отец насажал похожие на грибы кактусы; он любил говорить об их достоинствах, которые, как он считал, должны проявиться со временем. Он сажал их повсюду – на горных уступах, около любого возделываемого кусочка земли, вдоль извилистых дорог, терявшихся в ущелье, рядом с загонами для скотины и в тени, под эвкалиптами. Он срезал серпом стебель и втыкал его в землю – растение тут же пускало корни и росло само по себе, без всякого ухода. А наслаждаться их плодами предстояло ему с братьями, их детям и детям их детей: по утрам они будут весёлой гурьбой уходить из дома, срезать секатором фрукты и тут же съедать их.

Он вспомнил работника, жившего при доме, которому хозяин разрешил посадить неподалёку инжир, черешни и айву. Тот заботился при этом не только об их семье, но и о своих детях, как и обрабатывавшие их земли издольщики, которые всегда, прежде чем приступить к сбору урожая, приносили им красивую корзину винограда.

Но как ни старайся, всего не предусмотришь: благие желания этих людей не сбылись, расчёты не оправдались. От сельского хозяйства в этих краях остались одни воспоминания – там, где раньше возделывали землю и выращивали виноград, появились бесчисленные летние постройки и внушительные дома, в которых жили круглый год. Леса по большей части вырубили, а пруды и искусственные водоёмы, устроенные для орошения, высохли. И никто – ни он, ни его братья, ни дети его братьев – не наслаждался обещанными плодами, сорванными с посаженных для них деревьев. Время было незрячим всадником, и остановить его никто не мог. По пути оно увлекало за собой всё, что раньше казалось устойчивым и прочным, изменяло пейзаж, а мечты обращало в пепел.



Ничего не осталось от мест, связанных с его прошлым, – дома́, где жил он в детстве и в юности, снесли, или там поселились чужие люди. И хотя ни собственность, ни деньги, если только их нельзя было раздать друзьям и знакомым, не представляли для него никакой ценности, утрату прошлого он ощущал так, словно у него что-то отрезали. Он больше не мог попасть в места, по которым иногда ещё бродил во сне, и если ему удавалось проникнуть туда, то только тайком.

* * *



Было непонятно, откуда он отправлялся, но по сюжету полагалось соблюдать строго установленные правила: чтобы вернуться на Итаку, надо не бояться опасностей и не отступать. Он искал дорогу к родительскому дому, и хотя казалось, что до того рукой подать, блуждал в горах по каким-то зарослям, уходя всё дальше и дальше от цели. Он то карабкался вверх по тропинкам, помогая себе руками, то сбегал вниз, и ничто тут не напоминало ему знакомых с детства мест. Всё вокруг было чужим, но всё же он не отступался от своего намерения и настойчиво пробирался вперёд, хотя на пути странным образом то и дело возникали новые препятствия, а на душе делалось тревожно. Там, где горы резко обрывались вниз, в пустоту, ему приходилось делать большой крюк. Постепенно горы всё теснее обступали его со всех сторон, и он понимал, что отдаляется от моря. Потом он видел снег на вершине горы и удивлялся: в этих местах с их благодатным климатом снега не бывало никогда. Он начинал сомневаться, стоит ли идти дальше, – и просыпался, усталый и разбитый, словно и в самом деле лазил по горам.

Сон повторялся и после её скоропостижного ухода, но обстановка была другой. Теперь он шёл по улочкам городского квартала, где провёл большую часть своей жизни. В их хитросплетении для него не было секретов: он знал тут всё как свои пять пальцев, знал каждый закоулок и проходной двор. Тем не менее, идя вперёд, он постоянно почему-то оказывался позади, всё больше отдаляясь не только от своего района, но и вообще от огромного города. Теперь он видел город откуда-то сверху (с Сакре-Кёр или с башни Монпарнаса?). И как отыскать в том людском муравейнике, в огромном, запутанном лабиринте улиц свой дом? Он любил ходить пешком и умел ориентироваться в городе по карте, но теперь навыки эти ему не помогали. Даже реку он не мог найти! Мелькали лица незнакомых или полузабытых людей, которые не были ни его друзьями, ни добрыми знакомыми: старый моряк из Сен-Тропе, хозяйка гостиницы в городке Роскофф на побережье Бретани. И только потом, вспоминая свои ночные блуждания, он понял смысл этого сна: то были места, где они с ней жили какое-то время или вместе проводили лето. Но она сама даже не промелькнула в этом сне.

* * *



Когда они проводили свой первый летний отпуск в теперь уже снесённом родовом поместье, он удивил её, легко распознавая на небе ярко сверкавшие созвездия: Большую Медведицу, Кассиопею, Орион, Лиру со звездой Вега. Двадцать два года тому назад отец – или дядя? – научил этому его и братьев. Дело было на той же террасе, где теперь они с ней наслаждались ночной прохладой после знойного и утомительного дня. Детям вся Вселенная представлялась тогда большой игрушкой, сделанной только для забавы и удовольствия. Им казалось, что знать название звезды – значит превратить её в частицу свого маленького безмятежного мира.

Теперь всё изменилось. Звёзды смотрели на него в упор, не отрываясь, и во взгляде их было что-то тревожащее. Волшебный рисунок созвездий сменился бездонным враждебным миром, грохочущим и неистовым. Мир этот родился в результате рассеивания бесчисленного множества тел и постоянного расширения газов. Его рождение сопровождалось яростным разрушением: вспыхивали звёзды, сталкивались силы притяжения и отталкивания, сверкали облака звёздной пыли, затягивали в зияющую бездну чёрные дыры.

Сидя на маленькой, затерянной в этом мире террасе на крыше дома, он смотрел на звёздное небо, пытаясь представить себе немыслимое ускорение материи: вспышки сверхновых с их мощнейшим излучением, мириады вновь образующихся звёзд, причудливые туманности, рождающиеся и тут же исчезающие эллиптические галактики. И смерть, от начала начал пожиравшая всё живое на земле, была лишь подобием прожорливости космоса, где звезды ожидала та же судьба – водоворотом затягивало их в бездонную воронку. И разве его собственная жизнь не превратилась уже в обманчивое сияние погасшей звезды?



Холод, неистовство и безмолвие ночи окутывали его, как одеялом. Он вспомнил свои сомнения, после того как в молодые годы начитался Паскаля, вспомнил, как бился над решением дилеммы, возникшей в его сознании после чтения Кьеркегора. Жизнь была не сном, а видением, которое с годами и опытом становилось всё более и более осязаемым. Пытаясь выйти из него, ты всё равно оказывался в мире – видение не исчезало, оно длилось, и оно будет длиться, неумолимо безразличное к своим созданиям, без конца повторяющим один и тот же цикл перехода от сумерек к прозрачности.

* * *



Каждый раз, глядя на это, он вспоминал ритуальные брачные танцы насекомых, когда самцы являют чудеса балетного искусства, достойные Большого театра. Младший из детей, когда ему только-только исполнилось три года, по утрам влетал к нему в кабинет; появление его предварялось топотом на лестнице и шумом. Малыш распахивал створки двери и, едва переступив порог, начинал отбивать чечётку, глядя на него своими чёрными, горящими глазами. Подражал ли он увиденному по телевизору, или так работало его собственное воображение? Ребёнок танцевал самозабвенно и непринуждённо, как завзятый сердцеед, и, хотя повторялось это довольно часто, всегда был неизменно очарователен. Он ритмично стучал башмачками по ковру и вертел в руках воображаемые кастаньеты; глаза его разгорались, пока, танцуя, он подходил всё ближе и ближе. Потом малыш раскидывал руки в стороны и крутился волчком на одном месте, как маленький ученик шамана. Повернувшись два-три раза, он падал, но тут же вскакивал, довольный и уверенный в своей неотразимости. Теперь ребёнок требовал награду – таблетку, ему позарез была необходима слад-

кая волшебная таблетка. Он хитрил, притворялся больным, уверял, что только ментоловая пастилка разом вылечит его. Он брал малыша за руку, и они вместе подходили к шкафчику, где хранились лекарства. Малыш, замерев и зажмурившись, ждал с открытым ртом, пока ему положат на язык таблетку. Шестьдесят лет назад и он, застыв на коленях, точно так же ждал, когда священник положит ему на язык святую облатку. С преосуществлением или без оного, но чудо свершалось – ребёнок светился счастьем. Испытывал ли подобное счастье священник во время мессы, или его заедала рутина? Забавно, что на родном языке малыша облатка, которую христиане получают во время причастия, и лекарство обозначались одним словом, соединявшим в себе лечебные и магические свойства этого предмета.

* * *

Иногда он ненадолго проникал в запретное пространство, понимая, что больше не хозяин тут и следует вести себя осторожно. Спокойное, тихое место, где он проводил лето – сначала с отцом и братьями, а потом с нею и несколькими друзьями, – изменилось до неузнаваемости: появились парковка для машин, где охранники размахивали платками, показывая свободные места; закусочные – там продавали жареное мясо и прохладительные напитки; навесы, под которыми можно было посидеть и отдохнуть. Хозяйничали тут теперь бесчисленные приезжие, и на лицах их читалось удовлетворение людей, выходящих всей семьёй из огромного супермаркета с тележками, нагруженными доверху едой и всяким барахлом. Шумная толпа в шортах, майках, соломенных шляпах и тёмных очках заполнила все дорожки и все цветники, всюду слышались слащавые популярные песенки.

В один из таких набегов ему удалось на цыпочках пробраться внутрь дома, который некогда был их родовым гнездом и где теперь жили чужие люди. Он увидел, что и здесь всё полностью и бесповоротно изменилось: не было больше зна-

комой с детства мебели, в столовой и коридоре не висели уже портреты предков, стены комнат стали кричащих тонов, и всё кругом пропиталось запахом баснословного, недавно свалившегося богатства. Его провожатый, имени которого он не знал, попросил быть осторожнее: на галерее танцевали – у хозяев были гости. Ему хотелось зайти в спальню отца – он помнил его худощавым и немощным, похожим на Дон Кихота Доре, – но заднюю дверь, через которую туда можно было попасть, заделали. Потом он обнаружил, что исчезли с привычного места настенные часы, стрелками которых он играл в детстве и сломал их, да так, что починить оказалось невозможно – тогда он впервые открыл своё врождённое неумение ладить с простыми предметами, всегда забавлявшее её. Лестницы тоже были другими – величественными, застланными коврами. И он так и не осмелился спросить у своего провожатого, что же сталось с семьёй работника, присматривавшего раньше за домом, – живут ли они тут по-прежнему, или им пришлось съехать.

* * *

Он вспомнил, как полвека назад ехал поездом в посёлок на берегу моря, где дожидался его рыбацкий баркас и человек, некогда присматривавший за ушедшим теперь в небытие родовым гнездом. Дом этого человека был построен на том месте, где когда-то стоял господский дом, от которого осталась лишь арка над входом. Вспомнив ту поездку, он тут же подумал о Ясной Поляне – попав много позже в музей-усадьбу Толстого, он поразился сходству между домом человека, который, нажив состояние в Америке, волею судеб стал его прадедушкой, и домом патриарха литературы. Тогда, в поезде, у него был с собой роман Толстого, взятый почитать в дороге, и именно после этой, самой заурядной, поездки русский писатель стал обязательным звеном его будущей родословной. При обоих домах были скотные дворы, сараи, часовня, кухня, комнаты для домашней прислуги и существовало строгое, словно установленное свыше деление на две половины – господскую и людскую. Колониальная система организации жилища его разбогатевшим за морем предком была при всём том неуклюжим подобием системы, против которой внутренне протестовал русский дво-

рянин. Стоя около письменного стола Толстого, рядом с его бережно сохранёнными книгами или возле кровати, на которой Софья рожала детей, он вспомнил волнение, охватившее его в поезде, когда, с головой погрузившись в книгу, он благоговел перед манящим миром, неизмеримо более прекрасным, чем его собственный, миром, от которого он уже никогда не откажется.

Роман «Война и мир» открыл ему двери в другую реальность, где человеческие чувства развивались естественно и никто не давал им нравственной оценки, ни явно, ни между строк; они развивались свободно, а добро и зло зависели только от взглядов читателя, а не от установленных кем-то правил, обязывающих и незыблемых. Он с головой ушёл в книгу и не видел ни лежащего за окном моря, такого грязного на городских окраинах, ни каменных заграждений, защищающих побережье от яростных морских волн. А раньше, много лет назад, когда они возвращались из своего поместья в город, поезд в этих местах обычно притормаживал, чтобы облегчить выгрузку товара: мешки с мукой или овощами кидали оборванным, похожим на тени людям, которые по предварительному уговору с машинистом стояли вдоль железнодорожного полотна. Такая нищета и такая торговля канули в прошлое, но более-менее достойное существование ещё не означало, что тьма и всеобщее равнодушие отступили перед светом, что дышать стало легче. Литература же была замещением реальности, а герои Толстого жили полно и ярко, как им хотелось. Тогда-то он и открыл для себя, что свобода есть только в книгах.

С тех пор он полюбил ходить по букинистам и рыться в потаённых уголках книжных лавочек. Он читал запоем, и достойной наградой

ему было множество непохожих друг на друга миров: из Америки По он переносился в Нормандию Пруста, от честолюбивых устремлений и любви Жюльена Сореля переходил к духовным исканиям юного художника из Дублина. В литературе сошлись, слились воедино оба его детских увлечения – история и география. Оказывается, убежать возможно, даже не двигаясь с места. Поезд шёл то быстрее, то медленнее, сотрясаясь на стыках, а он сидел и думал о жизни обеспеченной, без лишений, и ему хотелось убежать от неё; наступит день, когда он выполнит своё желание.

* * *

Потом, подумав и отмотав назад ленту воспоминаний, он понял, что сравнение родового поместья и музея-усадьбы, посещённого на замызганной родине социализма, было вычурным и наивным. Да, при обоих домах были часовни, пруды, стойла и фруктовые сады (деревья в них, конечно, росли разные, в зависимости от климата), но в доме его предков, где сошлись каталонские и баскские традиции, не было и намёка на роскошь и утончённость, привнесённые Софьей в Ясную Поляну; не было при нём и школы, которую – в отличие от владельца чёрных рабов – открыл русский писатель для своих мужиков: это отвечало его мечтам о всеобщем братстве. В написанном казённым официальным языком путеводителе говорилось, что Толстой хотел освободить своих крестьян и воспитать их детей в духе гуманизма и прогресса, чтобы они сбросили оковы невежества и свет знаний озарил их. Но в скучном путеводителе ничего не говорилось о том, что крестьяне – потомки тех, кто когда-то обитал в пещерах, – противились нравоучениям Толстого, цеплялись за свои иконы и обряды, преклоняя колена перед старцами в митрах и с посохами, а необходимость думать казалась им делом вредным и утомительным.

Он размышлял, греясь на солнышке с «Крейцеровой сонатой» на коленях, когда неожиданного услышал голос Того, кто объявлял себя одновременно Создателем и созданием.

«Неужели ты думаешь, что может существовать хоть одно жалкое племя – о целом обществе, современном или постмодернистском, как вы выражаетесь, Я уж и не говорю, – не веруя в иррациональное и мистическое начало? Без белого балдахина, вышитой епанчи, пурпурных накидок, золотого нимба, папского скипетра? Народы, ваши овечьи стада, никогда бы не смирились с этим. Посмотри, к чему привели утопические взгляды и мечтания твоего кумира! Его соотечественники вздумали обречь Меня на забвение, но тут же создали своих идолов, не уступающих Мне в жестокости, – пророка с бородкой, мастера произносить зажигательные речи, и тирана с тараканьими усами. Скажи, что с ними сталось? Им ведь не удалось заменить Меня, их тоже свергли с пьедестала. А Я по-прежнему тут, и Мои колдуны по-прежнему возжигают ладан, благословляя людей на резню. Всё так же сапоги топчут репей. К чему были усилия, жертвы и ужасы, если потом всё вернулось на круги своя? Не думай, будто Я страдаю манией величия только потому, что знаю: плохой или хороший, но Я нужен вам, и поэтому в ближайшем будущем никуда не денусь. Вы – многочисленная колония насекомых, каждый из которых думает только о себе и стремится поскорее урвать что-нибудь за счёт других. Братство и равенство, о которых мечтают некоторые из вас, – не более чем призрак. Вы можете быть уверены только в одном равенстве, хотя и не хотите признаваться себе в этом, – в равенстве мёртвых, и ты, умерев, тоже этого не поймёшь».

## III

Иногда он вспоминал то, что доводилось ему читать об уходе Толстого из дома и о смерти писателя. С самими же книгами Толстого он не расставался, они всегда были с ним: «Война и мир» – в родном городе, «Крейцерова соната» – в Париже, «Хаджи-Мурат» – в горах Кавказа. И когда он в первый раз поехал с нею и с её дочерью на почившую в бозе родину социализма, они побывали в Ясной Поляне, ставшей музеем-усадьбой. Надев тяжеленные, словно свинцовые, тапочки, они осмотрели зал, где семья собиралась по вечерам и в праздники, библиотеку, кабинет писателя – на полке над столом стояла энциклопедия, а по стенам висели портреты, – гостиную, комнаты для прислуги и места, где держали скотину. Всё там говорило о благополучии и достатке, о несправедливом неравенстве и о привилегированном положении хозяев дома; и от всего этого Толстой хотел избавиться.

Мельничным жерновом висели на нём привилегии дворянства. Идеи писателя, его несбыточные мечты о равенстве, стремление к жизни в простоте, религиозный кризис, – всё подпитывало ощущение, что он заперт в золотой клетке, всё подталкивало к бегству из привычно-

го мира. Толстой хотел сбросить груз богатства, избавиться от лишнего и пройти оставшийся ему путь, имея при себе лишь самое необходимое. Решение порвать с женой было неотделимо от желания вернуться на юг, к горам Кавказа, где когда-то он чувствовал себя счастливым, несмотря на бесчинства и безобразия, творимые там его соотечественниками, – Толстой описал их в своей повести, которую ему не суждено было увидеть опубликованной. Поездка с этой повестью Толстого в Чечню, куда он отправился, чтобы написать ещё об одной из бесчисленных захватнических войн, оставила у него двойственное чувство разочарования и удовлетворения. Он увидел глазами писателя повторение Истории со всей её жестокостью, но он и почувствовал, что же именно искал Толстой, оставляя в юношеском порыве упорядоченный мир Ясной Поляны: возвращения к лесистым уступам вдоль дороги между Ведено и Шатоем. Заросшие кустарником еловые чащи, где прятались непокорные горцы, воевавшие под началом Шамиля. Возможно, именно мысль о возвращении туда, где он начинал писать, давала Толстому силы в последние часы его побега, когда он тщетно пытался ввести в заблуждение Софью и вездесущих полицейских в синих мундирах. Смерть настигла Толстого в Астапово, в скромном домике начальника станции, с железнодорожным билетом третьего класса в кармане.

* * *

Он вспомнил тот вечер, когда они с нею слушали «Крейцерову сонату». Оба не очень любили Бетховена, но, прочитав повесть Толстого, решили понять, как музыка повлияла на литературу. Замысел повести, если верить предисловию к тому изданию, которым они располагали, родился у писателя ещё до женитьбы, и, тем не менее, отмечал критик, Толстой в этом произведении предвосхитил свою супружескую жизнь, описав её очень точно. Период влюблённости, безразличие, ненависть, ссоры и примирения, – всё, что составляло жизнь в Ясной Поляне, неоспоримо свидетельствовало: характеры их оказались столь разными, что о согласии в семье не могло быть и речи. Бурные сцены, которые описывал Толстой в своём дневнике, случались всё чаще, пока однажды он не выдержал и в одну из бессонных ночей не уехал неожиданно из дома.

Слушать музыку по вечерам после ужина вошло у них в привычку (у них была прекрасная аудиосистема). В тот день она поставила компакт-диск с произведениями Бетховена и чередовала музыку с чтением вслух отрывков из Толстого. Потом они долго разговаривали, перебирая своих

хороших знакомых, повседневная жизнь которых казалась адом, – почему те не расходились в разные стороны, чтобы начать всё заново? Возможно, они испытывали потребность в мучениях и цеплялись за них как за неотвратимость.

Музыка Бетховена звучала напряжённо, за натиском и отступлением двух противоборствующих начал угадывалась нарастающая ярость. Скрипка и рояль спорили, теснили друг друга, резко замолкали, тут же грубо вторгались в партию другого и сходились в неистовом presto, после чего успокаивались. Но спокойствие их оказывалось лишь краткой передышкой, отдыхом после схватки, и вновь звучала, набирая силу, тема взаимной ненависти, вновь скрипка и рояль схлёстывались в ожесточённой, не на жизнь, а на смерть битве, исходом которой могло быть только уничтожение, только смерть, ничто.



Каков был смысл этого музыкального произведения? Хотел ли Бетховен сказать, что мужчина и женщина рождены для взаимной ненависти, для того чтобы отравлять друг другу существование? Она не соглашалась и приводила примеры из жизни. Толстой, написавший «Крейцерову сонату», был для неё загадкой, она его не понимала, более того – он был ей неприятен, но она любила Толстого-автора бессмертных романов.

Может быть, это происходило потому, что она не только не верила в Бога, но, по её словам, не верила и в ад.

* * *

В книге его жизни не было связного сюжета, попадались лишь отдельные страницы; разрозненные, никак не связанные между собой, они походили скорее на набросок того, что вполне могло бы стать сюжетом. Неопределённость этих страниц не позволяла ему ни делать выводы, ни представить их за образец. Поддаться желанию задним числом связать разрозненные события, означало вводить в заблуждение – это годилось для других, но не для себя самого. И не было смысла стараться ради такой малости. Какое имело значение, что поступки его могли быть – и чаще всего бывали – неправильно истолкованы, искажены? Всё равно мазню и неумелый набросок не выдашь за безукоризненную работу выпускника Художественной Академии. Он не желал быть образцом для подражания – ни моделью, ни статуей, – и потому не хотел, чтобы его судили по общепринятым меркам. В книгах он не намечал дорогу к себе – он стирал её; понять его через книги было нельзя – в реальной жизни он был тем, что оставалось вне их. Дело было только за тем, чтобы подвести итог, но ждать этого уже недолго.

Сознание того, что он – лишь исполнитель, лишь череда случайных поступков, приводило его

в хорошее настроение, он одевался потеплее – от гор тянуло холодом – и отправлялся пройтись. Свернув несколько раз за угол, увильнув от велосипедов, машин и повозок, он бросал беглый взгляд на киноафиши с индийским красотками и ловкими каратистами, здоровался с соседями и с покупателями ближайших лавочек, а потом окунался в гомон бурлящей Площади. Он крепко держал за руку младшего из детей, а точнее, позволял тому тянуть себя к магазинам игрушек или к лавочкам, где торговали завернутыми в кулёк сладостями, фисташками и грецкими орехами. В эти минуты он чувствовал себя легко, свободно, словно у него, как и у его маленького спутника, и впрямь не было прошлого, и ничего не существовало на свете, кроме возвращения домой, крепко ухватившейся за него смуглой ручонки и хитрющих, очаровательных глаз малыша, – всё сходилось в настоящем и окупалось им: старик, которого он видел в зеркале и в котором с трудом узнавал себя, был тем мальчиком на фотографии, где он стоял вместе с братьями под эвкалиптом; матери с ними не было, и они знали о ней совсем немного, как, впрочем, и о своём прошлом или о том, что ждало их впереди; они стояли, серьёзно и пристально глядя в объектив, и ни один из них не выглядел счастливым, ни один не улыбался, поэтому улыбка малыша накладывалась на старую фотографию, освещая потускневшие от времени лица, и была последним бесценным даром, за который следовало держаться, и с которым «потом» уже не имело значения.

* * *

Часами лежал он на кушетке, то с головой уходя в книгу, то забывая о ней, и глядя на то, что открывалось ему отсюда, с верхней террасы.

Тонкая линия белеющих вдали гор и силуэт большой мечети, неподвластные разрушительному натиску времени, были неким подобием постоянства и прочности. Город разрастался и одновременно приходил в упадок: тут и там хаотично возникали надстройки, пристройки и сарайчики, из которых сам собой составлялся другой, скрытый от постороннего взгляда добавочный город, свидетельство того, что жителей становилось всё больше и больше. Лес простых вертикальных антенн повсюду пополнился круглыми, ядовито-белыми грибами параболических антенн. Почему людям необходимо плодиться и тесниться на этой планете с ограниченными природными ресурсами? Разве не знают они, что несбыточная мечта продлить своё существование, воплотившись в детях, лишь причина новых бед, и что мир, идущий в этом направлении, обречён на гибель? Появится ли когда-нибудь мудрый и прозорливый деспот, которому достанет честности и мужества громко сказать об этом и стерилизовать всех сво-

их подданных? Разве не видели люди в теленовостях прямого включения при смертной казни или агонию умирающих от голода детей, превратившихся в живые скелеты, брошенные в яму трупы и лужи ещё тёплой человеческой крови? Возможно, геноциды и пандемии были секретным оружием машиниста сцены, который хотел сгладить последствия своего творческого безрассудства. Может быть, ангелы и демоны смерти, сами того не подозревая, выполняли лишь почётную очистительную работу и заслуживали всяческого восхваления? И если человеческий удел – бесцельно идти вперёд, то уж демиурги обязаны быть всегда безупречно точными. Какое будущее уготовано детям, родившимся в нищете богом проклятых стран и континентов? Брошенная вскользь идея Свифта могла стать неотвратимой реальностью: следовало откормить всех голодающих детей на земле, а когда они достаточно подрастут и будут готовы к употреблению, засахарить и продавать в гигантских супермаркетах, предназначенных для господ этой планеты. Тогда естественный родовой отбор компенсирует случайности бессмысленного размножения!



(Сам он никогда не хотел иметь детей, не хотел брать на себя ответственность за чью-то неминуемо обречённую жизнь, и она с уважением относилась к его воле. Хорошими или плохими, но детьми его были написанные книги: они займут своё место на полках библиотек и пребудут там до скончания веков.

Но зыбкая нить его размышлений тут же прервалась: какая разница – прожорливый червь или постепенное угасание написанной страницы?)

* * *

Бесконечно долго мог он смотреть на горы, разглядывая заросшую лесом высокую гряду. Сколько раз, вернувшись от своего друга-букиниста, с которым любил поболтать после обеда, он с изумлением обнаруживал, что до гор рукой подать, что они почти вплотную подступили к городским окраинам. Это был не более чем обман зрения, но поразительно достоверный! Казалось, что горы, на вершинах которых белел снег, двинулись вперёд, как Бирнамский лес в «Макбете», и вот-вот коснутся желтовато-розовых крыш. Случалось это всегда неожиданно – горы вдруг вырастали рядом, словно бутафория, сотворённая ловким постановщиком. Они были для него горизонтом и стеной, границей другого мира, манящего и недоступного; мир этот притягивал, откликаясь на живущее в глубине его души смутное желание убежать.

Многие путешественники писали о своих впечатлениях от этого величественного зрелища, но его ощущения были другими. С террасы на крыше дома открывался ему вид на тянущуюся вдоль всего горизонта линию гор, на их вершины, то торчащие пиками, то округлые, на отвесные склоны. Между ним и горами лежало простран-

ство, напоминавшее ему цветные иллюстрации из его детских книг по географии: за картинкой с пальмами и скупой растительностью следовало изображение Средиземноморья с оливковыми рощами и красновато-бурой землёй, которое неожиданно сменялось ельником на альпийских склонах, мало похожих на настоящие. Так было и здесь – всё менялось мгновенно, и очень скоро начинало казаться, будто видишь собранные в единую неправдоподобную цепь пейзажи разных мест, – иногда после редких теперь поездок за город на машине у него возникало ощущение, что он побывал в тематическом парке.



К вечеру краски становились ярче, густели, ещё больше оттеняя друг друга. Небо делалось синим-синим, снег отливал ослепительной белизной, а кипарисы и высокие городские дома жадно впитывали последние лучи солнца. Позже, когда на город опускались сумерки, и аисты неспешно направлялись к своим гнёздам, горы продолжали светиться ярким, насыщенным светом – так в самом конце представления, перед тем как опустится занавес, примадонна показывает всю силу и красоту своего голоса.

И всё растворялось в ночной тьме, очертания расплывались, а уставшие огни городского освещения заменял свет медленно загоравшихся созвездий. Спектакль закончился, публика покидала партер и ложи. Но тот, кто зорко наблюдает за всем, был там, на неведомой территории Юга, и продолжал мечтать, притаившись на подмостках, словно подстерегал, пока он сдастся, сдастся окончательно и безоговорочно.

* * *

На небосводе вспыхивали крошечные, с булавочную головку, детские лица – бескрайним ковром усеяли они всё пространство. За миллионы лет на свет появилось бесчисленное множество младенцев – наверное, больше, чем астероидов, планет и звёзд на небе. Это были дети всех земных рас и плоды их смешения; они принадлежали к виду, к которому принадлежал он сам и который вернее всего назвать бесчеловечным. Великий Злодей коснулся их смоляным факелом, и они искрились, не сгорая до конца, как перегревшиеся, раскалённые добела дальние галактики. Ад, порождённый болезненным воображением, не имел границ: за любым, самым пустячным грехом следовало неотвратимое наказание. Те, чьи тела уже разложились на земле и включились в постоянный круговорот природы, продолжали страдать и мучаться в вечности. В чьём воспалённом, необузданном воображении родилось понятие вечности? Когда возникла эта дикая, чреватая бесчисленными бедами идея? Первыми проявлениями ужаса и отчаяния перед конечностью человеческого существования стали мифы, молитвы и жертвы, приносимые великому демиургу, единому в двух лицах: до-

брый – он всё разрешал, не ведая, что творится, и злой, который всё прекрасно знал. Его самого воспитывали, чтобы трудиться во имя этой зловещей цели. Земная власть не могла существовать без костров, эшафотов, расстрелов и гильотин, но те, кто направлял страх людей, распространили свою власть и на потусторонний мир. Всё насилие и все войны, которые он видел собственными глазами, чудовищные общие могилы и лагеря смерти были лишь детскими забавами по сравнению с тем, что творил Бессердечный из своего далека. Счёт его жертвам, начиная с первого прямоходящего существа эпохи палеолита и кончая программистом из Силиконовой Долины, шёл на триллионы. Однако не существовало Трибунала, судившего за подобное уничтожение людей, как не судили нигде за неоказание помощи бесчисленному множеству тех, кто оказался в опасности. И ни один тиран-кровопийца не годился Бессердечному даже в подмастерья. Дети горели, как сухая стружка; в чертах их, искажённых ужасом, не было ничего общего с ангелочками благочестивых картинок и скульптур. Бессердечный сначала обрызгивал их бензином, и дети горели, как свечи в церкви провинциального городка. Он вздрогнул: стало холодно, и он поплотнее закутался в плед, который она купила ему, перед тем как уйти навсегда.

Похоже, он задремал в сумерках? Чудовищные, раскалённые добела образы уже не мерещились ему вместо созвездий на потускневшем небе. И он совсем успокоился, когда услышал голоса детей, игравших на улице.

* * *

Он медленно шёл, держа в руках большое мачете – такие были у сидевших в зарослях тростника или высокой травы кубинских повстанцев, изображённых на старинных гравюрах. Непонятно, сам он или его двойник (или кто-то третий?), притаившись, вглядывается вдаль. Кругом валялись сухие ветки и палая листва, и он сразу вспомнил места, куда уводило его когда-то детское воображение под влиянием гравюр в семейной библиотеке. Чувствовалась зловещая близость трясины с её смертельными ловушками. Он пробирался по раскисшей тропе, всё время боясь поскользнуться и тяжело дыша, не от усталости – от тревоги: ему нужно было в школу. Едва заметно начала меняться растительность вокруг: появлялись заросли и скалы. Вместе с нею менялась и погода: резкие порывы ветра раскачивали ветви похожих на ели деревьев. А он, не выпуская из рук мачете, всё шёл, непонятно куда, по просёлочной дороге, ведущей не то в Шатой, не то в Ведено. Может быть, он находился на Кавказе, описанном Толстым, среди диких гор, где течёт полноводная и мутная река? То, что различал он вдали, подтверждало это предположение: ему попадались блокпосты, брошен-

ные в беспорядке походные лагеря, кучки пьяных солдат, пулемётные гнёзда и дрожащие от холода новобранцы около них, местное население, греющееся у жалких костров. Человек с мачете – ему видно только само оружие, но не тот, кто его держит, – добрался до села. Там он – или кто-то другой? – только что отрубил своим одноклассникам руки и ноги, валяющиеся в грязной луже, как части манекенов; жертвы трагедии исчезли. Чёрная дамская шляпа, аккуратно уложенная вместе с нафталиновыми шариками в круглую картонную коробку, напоминает ему шляпу, хранившуюся когда-то в шкафу их дома, а потом исчезнувшую. Учительница (лицо её видно плохо) громко выговаривает ему: «Сколько раз тебе надо повторять, что конечности животных и людей не прорастают, как растения! Будешь пересдавать естественные науки! А сейчас отправляйся домой!». Он (теперь понятно, что это он) плачет навзрыд, когда рассказывает дома о своей беде. Отец кричит: «Учительница права! Сегодня останешься без ужина! Чтобы больше не делал глупостей!».

Вечерний показ фильма на этом неожиданно прервался – то ли из-за неполадки, то ли из-за того, что он проснулся.

* * *

Всё началось глубокой ночью: где-то возник неясный, приглушённый расстоянием звук, как будто работали отбойным молотком или электрической дрелью. Сначала он не мог понять: звук был продолжением ночного кошмара или у него просто звенело в ушах. Подождав, пока сон окончательно развеется, он протянул руку к выключателю. Лампочка не загорелась. Может, перегорела? Он встал и подошёл к щитку с выключателями – ни отопление, ни остальные лампочки не работали. В комнате было очень холодно, и он поёжился; впотьмах нащупал тапочки и шерстяной халат. Шум отбойного молотка или электродрели не только не затих – усилился. Может быть, где-то по соседству шли строительные работы? Обычное дело в последнее время. Но кому могло прийти в голову работать в такое время, не считаясь с соседями? Он приоткрыл дверь спальни и выглянул на галерею. Тонкий серп Луны еле освещал ветви апельсиновых деревьев да дом напротив. Он проверил другой выключатель – ничего: в доме было темно, электричество отключили. Удары становились всё громче. Пытаясь понять, откуда они идут, он осторожно спустился на один пролёт по лестнице,

которая вела к комнате для гостей, и тут понял – кто-то яростно крушил стену дома. Град мощных ударов сотрясал её, грозя вот-вот обрушить. Он не знал, бежать ли на улицу за помощью или звонить в полицию. Ему стало по-настоящему страшно, когда он обнаружил, что и телефон отключён. Тут вдруг Луну заслонили тучи, и всё покрыла непроницаемая мгла. Кому и зачем понадобилось сносить дом? Почему все обитатели его молчали, не подавая признаков жизни? Тут он подумал о детях, о том, что необходимо как можно скорее вывести их в безопасное место, и громко позвал их родителей: «Дом сейчас рухнет! Вы останетесь под обломками!». Паника охватила его. Удары сыпались лавиной уже со всех сторон, слева, справа, сверху, снизу. Подгоняемый грохотом молота и визгом дрели, он выбежал в сад. Разве кто-нибудь услышит его в этом шуме? Стены трещали, уступая натиску адских машин. Во рту у него бились имена детей – он кричал, кричал, кричал до исступления, а потом вдруг понял – то, что он принимал за грохот строительных работ, от которых, казалось, дом вот-вот рухнет, было неистовыми ударами его собственного сердца.

* * *

Неисчислимое множество людей от зарождения человечества и до зари кибернетической эры нескончаемым потоком несло туда, где всё обрывалось. Они двигались шеренгой, взявшись за руки, словно подбадривая друг в друга, но не теряли присутствия духа, когда кто-нибудь сбивался с ноги и исчезал в прожорливой бездне. А скольким младенцам не дано было даже начать этот путь! Туда, где только что виднелись их крошечные фигурки, уже несло мощным прибоем следующую волну новорождённых. Мягкие волны людского прилива шли внахлёст, одна за другой, но заметно ослабевали, приближаясь к зловещей бездне. Войны, эпидемии, не знающий пощады голод опустошали человеческие ряды, и уцелевшие, осознав свою жалкую и неотвратимую участь, благоразумно замедляли шаг. Он видел, как радостно размахивали флагами те, кому посчастливилось избежать ловушек и опасностей. Надежда на жизнь в немалой степени зависела от места рождения, от жестоких капризов географии. Уроженцам Индии или Южной Африки не удавалось добраться даже до первой линии сверкающих буйков, разделяющих жизненный путь на этапы, и их несметными

толпами затягивало в гигантскую воронку. Никто не жалел их, никто не пытался помочь. В других странах люди со стеснёнными средствами и те, кто не обладал особой предприимчивостью или врождённым умением побеждать, погибали быстрее негодяев или своих обеспеченных сограждан. Приливы людских волн зависели от естественного отбора, при котором главным было положение в обществе и деньги. После шестидесяти толпа заметно редела, особенно мало тут было людей, оказавшихся бесполезными для общества. Лица тех, кому удалось миновать следующий рубеж, словно преодолеть линию заграждений на соревнованиях по бегу с препятствиями, светились деланной радостью. Те же, кому пошёл восьмой десяток (к ним относился и он), небрежно проглядывали газетные некрологи, чтобы увериться, что они сами ещё живы. Обмениваясь мнениями по поводу ухода того или другого, они чувствовали прилив сил, хотя стояли на движущейся дорожке, которая медленно несла их к краю обрыва. Они отмечали все дни рождения, все памятные даты, частные и общественные. Годился любой предлог, чтобы произнести тост в честь какого-нибудь болезненного типа с морщинистой кожей, который скоро станет добычей могильных червей или лакомым блюдом для стервятников. И этот фарс надо длить до конца? Шумно изображать бурную радость, задувая свечи на праздничном торте, и напевать по-английски идиотскую фразу? Он вспомнил калифорнийских дам, разодетых и разукрашенных, точно куклы; с веером в руках и с большим гребнем в волосах они подъезжали на роскошных лимузинах к арене для боя быков в Тихуане, чтобы

посмотреть на выступление Кордобеса*. Их Старчества выстраивались у самого барьера, смеялись и вели себя так, как вели они себя, когда, не перешагнув ещё тридцатилетнего рубежа, восторгались Тайроном Пауэром в блестящем костюме тореадора в фильме «Кровь и песок». Кого хотели они обмануть – других или самих себя? Что с ними теперь? Пополнили собой чахлые ряды тех, кто перешагнул девяностолетний рубеж, и превратились в иссохшие фигурки, сохранившиеся благодаря баночкам крема «Пондс»?



Она никогда не красилась и не скрывала свой возраст. Она хотела жить и самовыражаться в своих записных книжках, пока сможет, пока позволит здоровье, пока голова останется ясной. Вплавь, как на бретонских пляжах, где она так любила купаться, пересекла она границу, отмеченную буйками, и её затянуло в воронку. Этот «всегда отсутствующий муж» с горечью убедился в её неосторожности и недальновидности. С тех пор его вселенная висела на волоске. Скоро придёт и его черед – он окажется на краю бездны. Он мечтал о том, чтобы закончить свой путь достойно, как Толстой с его неосуществившимся бегством на Кавказ. Но он не знал, когда это случится, и нельзя было, как в наброске пьесы, предсказать, в какой день разойдутся навсегда его жизненный путь и путь, которым идёт мир, – занавесом попрежнему распоряжался машинист сцены.

---

* Бенитес Перес, Мануэль (р. 1936), известный как Эль Кордобес, – знаменитый испанский тореадор 60-х годов.

* * *



Оставалась ещё одежда. Не та, которую он оставил в квартире, откуда бежал без оглядки, отделавшись ото всего, что там было, как от проклятого наследства. Осталась висевшая в шкафу на плечиках одежда, которую она покупала, приезжая в желтовато-розовый город: с десяток просторных, как балахоны, платьев; она надевала их дома, когда читала, разговаривала или слушала свою любимую музыку со стаканом виски в руке. Избавиться от них, как советовали ему друзья, или оставить там, где оставила она в свой последний приезд? Он смотрел на свой шкаф и видел другой, старинный и красивый, вместительный трёхстворчатый гардероб красного дерева с зеркалом. В углу одного из его отделений хранились бабушкины вещи, после того как семья поместила её в санаторий, где она и умерла несколько месяцев спустя. Её платья и туфли тоже со временем исчезли, но ещё долго оставалась чёрная шляпа, хранившаяся в картонной коробке вместе с нафталиновыми шариками, – надев эту шляпу, бабушка, впавшая в старческое слабоумие, бесцельно бродила неподалёку от дома и украдкой рылась в мусорных ящиках, выгребая оттуда огрызки фруктов и всякие очист-

ки. Но и картонная коробка однажды исчезла, а вместе с нею навсегда исчезла и шляпа – бабушки, Анны Карениной или та, что валялась в грязной луже среди развалин Шатоя? Её исчезновение потрясло его даже больше, чем бабушкина смерть. Он был тогда ещё ребёнком, и у него сжалось сердце, а на глаза навернулись слёзы. Он вдруг понял, что жизнь – это зияющая дыра, прожорливый омут, через который утекают воспоминания.

## IV

В сумерках Он избегал встречи лицом к лицу, но появлялся, когда темнело.

«Я тебе говорю как есть: вы рождены, чтобы множить забвение. Боль утраты смягчается, воспоминания блекнут, чувства и привязанности ослабевают. Это закон жизни, которую Я, как принято считать, создал, и вы все подчиняетесь ему. Безутешных вдов и детей не бывает. Твои близкие немного поплачут, но скоро забудут, и боль их растает, как снег в стакане воды.

Ты сам уже не думаешь о ней каждый день, и чтобы оживить её образ, тебе приходится смотреть на фотографии – всё стирается, блекнет и гаснет. Это единственное проявление Моей доброты. Неужели ты думаешь, что, обладай ваш неисправимый вид даром предвидения, вы заводили бы детей, внуков и странных правнуков, поведение и мысли которых вам не только непонятны, но даже внушают ужас? Можешь не сомневаться – если отец зачавшего тебя отца мог бы себе представить, каким ты вырастешь и что о нём напишешь, он бы уклонился от выполнения своего супружеского долга, бросил это дело навсегда. Он бы ужаснулся, увидев, что из тебя выросло. Вот Я

и отправляю вас на тот свет, чтобы вы не видели, как из ваших потомков получается совсем не то, о чём вы мечтали…»

Звёзды уже не светились на небе, или их закрыли тучи – вокруг было темно; в саду всё стихло, и только где-то, кажется, в угловом доме, плакал ребёнок. Он закутался в плед и приготовился слушать Его монолог.

«Вы представляете Меня блаженствующим в окружении ангелов и святых, и вам в голову не приходит, что только злодеи развлекают Меня, и ни одно извращение не отталкивает. Вы ужасаетесь, видя на экране телевизора войны, изуродованные тела, зверства солдатни, и даже не подозреваете, что Я любуюсь ими с того дня, как вы Меня придумали. Как наивно вы заблуждаетесь относительно Того, кого сами выдумали!



Я знаю, ты не веришь в Меня, но ты бессилен против тех, кто верит. Для них Я существую, и так будет до скончания веков.

То, что Я говорю, относится к тебе и к твоему кумиру, Толстому, хотя он-то не до конца утратил свою крестьянскую веру, он просто размыл представление обо Мне, но ничего нового не придумал. Величие Толстого было в интуиции или сомнениях, которые привели его на железнодорожную станцию Астапово, в вагон третьего класса. В поисках достойного конца он стремился на Юг, за Белые горы*, но умер, так и не добравшись до них.

Что же до тебя…»

---

* Центральный горный массив в Средиземье, литературном мире, созданном английским писателем Дж. Р. Р. Толкиеном в его книгах.

* * *



«Между нами нет большой разницы. Хотя для того, чтобы зачать тебя, понадобилась лишь капелька спермы, а Меня вылепили обманом и решениями вселенских Соборов, в главном мы схожи: мы не существуем. Мы оба – видения или призраки, порождённые чем-то сторонним, назови это случаем, стечением обстоятельств или игрой воображения. Ты был обречён на смерть ещё до рождения и принадлежишь царству теней. Меня выдумывали тысячелетиями, споря из-за каждой мелочи, и Я перестану существовать в день, когда иссякнет вера последнего человека. Каждое из приписываемых Мне свойств и качеств долго обсуждали, схлёстываясь в смертельных схватках, совершенствовали и по много раз уточняли. Я – Един, Я – Един в Трёх Лицах, Я – Всемилостивый? Или Я – жестокое, жаждущее крови чудовище, бесстрастно наблюдающее за вашими бесчинствами и зверствами? Те, кто превратил Меня в Высшее Проявление Доброты, очень скоро оказались в затруднительном положении: как тогда объяснить жестокость и необузданность людей? Чем занят Я там, наверху, если не вмешиваюсь, чтобы остановить их? У Меня вечный отпуск или Я слеп, безду-

шен и ни на что не годен? От этого противоречия не уйти, сколько не приукрашивай представление обо Мне. Если Я не являюсь исполненным злобы существом, огнём и мечом уничтожающим всё Им же созданное, существом, и в которое верят только из страха, то что от Меня останется? Бледный, еле различимый призрак, представление столь зыбкое, что, кажется, вот-вот и оно растает. Как я забавлялся, когда вы только начинали лепить
66 Мой образ! Но скажу тебе честно, по мере того как люди возносили Меня, аппетит Мой разыгрывался, и Я раздраженно хотел ещё и ещё. Мне было мало этого равностороннего треугольника со всевидящим оком в центре, похожим на треугольное солнце в обрамлении туч. Почему Я Един в Трёх Лицах, а не в четырёх? Разве Мать Сына Моего не наделена божественным началом? Раз Меня придумали, то почему Я не могу быть Един в шести лицах, а ещё лучше – в десяти, по числу заповедей на Скрижалях Закона, которые Я вручил Моисею? Я казался себе прозрачной оптической призмой, похожей на глаз насекомого, который видит мир разными углами зрения. Должен тебе признаться, Я завидую языческим богам; конечно, они не были всемогущи, но зато не прятали ни своих привязанностей, ни своей ненависти и не принимали себя слишком всерьёз. Они вас обманывали, зато с ними можно было договориться или умилостивить. Меня же вы лишили всякого чувства юмора, Мне не дано смеяться – Я торжественен, как ваши не терпящие возражений правители или как Наполеон в день коронации. Если, как утверждает теперь один старик, ад – это состояние психики, издевательски замкнутой в прозрачный подвижный шар, то как быть с прекрасным, заставляющим содрогнуться, дантовым видением огня, котлов и

пламени, на котором вечно томятся отправленные в преисподнюю? Стереть всё это одним росчерком пера, значит отсечь важнейшую часть, свести Моё могущество абсолютного монарха к власти президента. Если соперничающие со Мной боги других религий сохранят свою власть, им придётся объединиться со Мной, потому что в основе Моего могущества лежит страх. Мне известно, что надо подставлять другую щёку, известно о жертве Сына и о прочих благочестивых вымыслах, у которых одна цель – смягчить жестокость правды. Так тиран разбивает слащавый садик рядом со сторожевыми вышками и колючими заграждениями лагерей смерти. Однако всё это нисколько не влияет на веские доводы в Мою пользу: виду вашему свойственно непостоянство – то вы униженно подчиняетесь, то взрываетесь неповиновением. Разве ты покорился бы пресной красоте ангела, у которого нет ни высокого мужественного лба, ни выдающегося вперёд подбородка, ни полных губ и мускулистого тела, – всего того, перед чем ты безоговорочно преклонялся всю свою жизнь?»

* * *

«Чем вы отличались от остальных приматов в ту далёкую пору, когда ещё жили в пещерах, как вонючие животные, и хотя ходили на двух ногах, но очень неуверенно, всё время норовя опереться на что-нибудь?

Вашего жалкого разума хватало только на удовлетворение простейших потребностей: вы питались корнями и фруктами, охотились да готовы были сожрать любое более слабое существо, угодившее в ваши заросшие шерстью конечности, которые и руками-то не назовёшь.

Почуяв запах самки, вы врывались в пещеры, где те прятались и, чтобы совокупиться с ними, колотили их самцов примитивными каменными орудиями по груди и по голове, а потом жадно пожирали их половые органы, надеясь прибавить себе мужской силы. Так и сейчас поступают некоторые престарелые любители боя быков с половыми органами этих храбрых животных; правда, теперь их предварительно отваривают – атавизмы живучи, хотя вы и считаете себя цивилизованными и очень умными.

Я не знаю, как вы открыли секрет добывания огня и как праздновали свои победы и бо-

гатую добычу, устраивали или нет дикие пляски вокруг костров: в ту пору Я ещё не родился в вашем сознании, Меня выдумают через миллионы лет. Может быть, всё это Я видел в одном из ваших фильмов о Тарзане или о динозаврах.

Но, поскольку вы создали Меня вездесущим и вечным, Мне дано видеть ваше прошлое в толще веков и оценивать, насколько вы преуспели в борьбе разума с животным началом. И честно тебе скажу, между вашими захватническими наклонностями и естеством тех, кто только выбрался из пещер, нет большой разницы.



Вы нисколько не изменились за прошедшие с тех пор сто тысяч световых лет (прости приблизительность моих расчётов): вы всё ещё устраиваете ритуальные пляски вокруг костров, готовы переломать кости вашим соперникам и спите с их самками, когда у тех течка, – века культуры и просвещения растаяли в дыму пожарищ и в пыли рухнувших небоскрёбов.

Ты, как и молодой Толстой, своими глазами видел бойню на Кавказе и опустошение Чечни.

Скажи, что изменилось на Земле, которую, согласно легенде, Я создал за одну неделю?

Прикрой на секунду глаза: перед тобой будут только горы и леса Кавказа – ведь именно такой пейзаж видится тебе за вершинами, на которые ты смотришь со своей террасы, и только он манит тебя. Там в глубоких долинах покоятся тела, храня память о причинённом зле, а на Крыше Мира эхом отдаётся Мой смех».

* * *

Иногда голос снисходил до разговора.

«– Ты вымышленное существо, и судьба твоя давно написана.

– В Несотворённом Тексте?

– Я нашёл её в труде мудреца, жившего много веков назад. Факты и события твоей жизни, вплоть до самых незначительных, описаны там в мельчайших подробностях. Не буду пересказывать их тебе, чтобы не наскучить.

– Могу я хоть краешком глаза взглянуть на этот труд?

– Любопытство всегда вас губило. Разве ты не помнишь первую главу Книги?

– Где, чёрт побери, Ты нашёл этот манускрипт?

– Не ищи его в библиотеках – наступит день, и они сгорят. Манускрипт – это твоя собственная жизнь.

– Моего двойника звали так же, как и меня?

– Имя, фамилия, число и место рождения полностью совпадают. Но придуман ты, а не он, и в манускрипте описано всё.

– Даже этот разговор?

– Он у Меня перед глазами, словно на экране компьютера. Всё, что с тобой случится, предначертано.

– А если я сейчас замолчу?

– Тут есть пробелы. Но ведь ты не хочешь молчать. Когда ты говоришь, ты живёшь. Ты вышел на сцену и не торопишься с неё уйти.

– А ты?

– Мне, для того чтобы существовать, нужен зритель. В тот день, когда театр опустеет, Я тоже исчезну. Но это будет не завтра и не послезавтра, ведь так?



– Длинная история!

– Очень. Если только вы не разделаетесь с вашей планетой, не доведёте до того, что жить на ней станет невозможно.

– Ну этого я уже не увижу.

– Ты жалеешь?

– Кто хоть раз не мечтал, умирая, увлечь за собой весь мир?

– Раньше вы просто не могли этого сделать, но скоро всё изменится. Вы мечтаете приблизиться ко Мне, к обещанной вам благодати, и ваше желание угрожает Моему существованию, которое зависит от вашего. Одержимые верой, вы так стремитесь на небо, что можете уничтожить Меня!

– Скажи мне, что там написано!

– Не будь таким нетерпеливым. Ни одна тайна в мире не охраняется так, как неотвратимость случайности. Что будет со Мной, если Я стану раскрывать её всем Моим созданиям?»

* * *

«История – это царство лжи. Как только вы изобрели алфавит и наловчились в письме, вы тут же начали игры с палимпсестом, стали редактировать древние манускрипты, подтверждающие легенды и мифы о сотворении мира, а также заповеди, продиктованные божествами, которые вы же сами создали, став потом их жертвами. Вы придумали Мои чудеса и Мои приступы гнева, всепожирающий огонь Содома, речи, приписываемые пророкам и посланцам. Без подделок небескорыстных писцов и продажных переписчиков откуда бы взяться отличиям, которые дают земную власть, власть Папскому престолу во владениях Петра в Риме, а королям и султанам – корону и скипетр? Библейские тексты, решения вселенских Соборов и Откровения не заслуживают ни малейшего доверия. Они искажались, переписывались, исправлялись и снова переписывались.

И если теперь, в эру кибернетики, когда можно мгновенно связаться с любым уголком на земле, вы позволяете себя обманывать, то представь, что же творилось тысячу лет назад с реликвиями, видениями, чудесным образом опознанными телами! Какая яростная борьба шла за тро-

ны и скипетры, за многовековые генеалогические древа, и ни одному халифу, ни одному верховному жрецу или тирану не достало чувства юмора, чтобы, доказывая чистоту своей крови, объявить себя прямым потомком Адама и Евы!

Нет человека, семьи, рода, нации, нет учения или государства, которые не обосновывали бы законность своих притязаний ложью – это незыблемая истина. Те кто, надеясь уничтожить неудобные улики, сжигают библиотеки, и не подозревают, что сгоревшие манускрипты были фальшивкой. Главный враг лжи – не правда, а другая ложь. Написавший тебя мудрец знал, что ты не существуешь».

* * *

«Извергнув из себя ваш мир и оглядев сверху Сотворённое, Я содрогнулся от ужаса: это было отвратительнее зловонной кучки дерьма, хуже вязкой вонючей массы, закручивающейся спиралью, будто взбитый крем на пирожном. Эта спиральная галактика вращалась в атмосфере с непристойным удовлетворением и даже не замечала, насколько ничтожна она по соседству с мириадами светил, звёзд, астероидов, планет – всего того, что вы по глупости своей считаете Творением. Тут какой-то грубиян помочился как следует, и она чуть не захлебнулась, но этот жалкий пьяница-патриарх построил ковчег и спас вас. Спас – от чего? От зависти, злобы, угнетения, преступлений, войн, пагубной жажды власти и богатства, от горя, болезней, угасания, смерти? Вы считаете себя центром Вселенной и думаете, будто Луна и все созвездия на ночном небе созданы только для того, чтобы вы могли ими любоваться, и вам в голову не приходит, что мир ваш – ничтожная песчинка на огромном и постоянно расширяющемся пляже. Если бы Я действительно существовал, стал бы Я тратить силы, чтобы развлечь вас и доставить довольствие? Неужели вы в самом деле полагаете,

что Я слежу за всеми вашими мыслями, словами, необдуманными и злобными поступками, а для памяти заношу их в особый список? Я бы умер со смеху, глядя на ваше самомнение, но Я по определению бессмертен.

Я заметил, как вчера, сидя на террасе кафе на Площади, ты рассеянно следил взглядом за несчастным калекой, который каждый день, опираясь на инвалидные ходунки, останавливается около тебя, надеясь разжалобить и выпросить несколько монеток. Его скособоченная голова, смотрящие в разные стороны глаза и стекающая из приоткрытого рта слюна не вызвали у тебя ни слезинки жалости: к тому, что часто повторяется, привыкаешь, оно уже не производит впечатления. Этот закон распространяется и на Меня: Мне скучно смотреть на ваши несчастья и вашу жестокость, потому что Я вижу их уже много веков подряд. Поэтому Я придумал вечность – не для того чтобы высокомерно распределять поощрения и наказания, как своевольное и гневливое божество, а для того чтобы собрать в одном месте всё то, что нагоняет безграничную скуку».

* * *

«Горная цепь перед тобой – это театральный занавес; откинь его и ступи внутрь. По другую сторону занавеса лежит мир, о котором ты мечтаешь и в который стремишься – скалистый, дикий, обожжённый солнцем, вылепленный четырьмя стихиями. Ты угадал этот мир – сначала в причудливом, вулканическом пространстве Гауди, потом в холодном лунном безлюдье Большого Эрга* и в необозримых дюнах Тарфаи**. Всё голо там, там ничего не растёт и тёплый человеческий след не смягчает мрачного и безыскусного великолепия этого мира. Вот уже миллионы лет крошечная звезда, которая обогревает вашу планету, появляется и исчезает перед пустым амфитеатром. Все цвета и оттенки спектра принимают участие в величественной финальной сцене, поставленной только для тебя. Ты будешь там единственным зрителем, если избавишься от имущества и привязанностей, которые удерживают тебя на этом крошечном островке.

---

* Песчаная пустыня на севере Сахары.

** Небольшой город (бывш. Вилья-Бенс) на юге Марокко.

Чего ты ждёшь? Думаешь, ты всегда будешь смотреть на бой быков из-за барьера и никогда не окажешься на арене?

Худшее из того, что могло с тобой случиться, уже случилось – ты живёшь без неё, вдали от неё, и она отходит, становится всё меньше и меньше. Оставь необходимые распоряжения тем, кто ухаживает за тобой и за этими детьми, которые с жестокой непосредственностью забудут тебя, чтобы жить дальше. Не цепляйся за то, с чем ты всё равно скоро расстанешься, – чем меньше привязанностей, тем легче переход.



Послушай, не прикрывайся своей глухотой: ты попал на Меня в хорошую минуту, и Я говорю с тобой искренне. То что ты оставляешь здесь – твоя повседневная жизнь, благополучная старость, – не идёт ни в какое сравнение с тем, что ждёт тебя там. Перед тобой одним будет простираться туннель света. Вместе со Мной ты перенесёшься за Белые горы, оставишь позади вершины Мглистых гор*, где по ущельям и низинам струится зло, которое Я заботливо обучил и вооружил. Против него бессильны самые совершенные смертоносные орудия, потому что Я клонирую новых злодеев, обладающих той же жаждой разрушения. Разрушать – вот к чему вы тупо стремитесь, и так было ещё до того, как вы выдумали Меня. Глядя на экран телевизора, ты ужасаешься, но за этим ужасом есть красота, скрытая занавесом. Ступи за него и растворись в её созерцании. Я буду там, чтобы закрыть скобки между ничем и ничем. Мой голос загрохочет в вышине, как в неправдоподобной библейской сказке, и Я скажу тебе, мертвецу, как уже говорил когда-то (говорят, что говорил): «Встань, иди».

---

* Горный массив в Средиземье.

# V

И вот наступил день, когда он решился. Он отправился на остановку маршрутного такси, никому ничего не сказав; только оставил домашним коротенькую записку на местном наречии, чтобы его не ждали ни к обеду, ни к ужину, что он уезжает далеко. Сев на переднее сиденье, он терпеливо ждал, пока соберутся остальные пассажиры, и украдкой разглядывал лица крестьян, их детей и плетёные корзины через зеркальце водителя. Последними подошли два молодых парня; один из них сел рядом, а руку закинул на спинку его сиденья. Такси отъехало, и, зажатый между водителем и молодым парнем, он смотрел на предместья желтовато-розового города и прощался с ним, стараясь не поддаваться грусти расставания. Решение его было бесповоротным, поэтому ни о каких чувствах не могло быть и речи. Его прошлое было отменено, он стал чистым листом бумаги. Он существовал только сейчас и здесь, а мир его сжался до размеров грязной кабины такси. Он смотрел на лежавшую за окном равнину со смешанным чувством скуки и отрешённости, прикидывая, сколько километров осталось до выбранного им горного массива. Сидевшие сзади пассажиры изредка

переговаривались шёпотом, но общего разговора никто не начинал. Краем глаза он видел профиль водителя, сигарету у него во рту и висящие на переднем зеркале чётки с обязательной десницей Фатимы. В машине было душно и тесно, но никто не отпускал обычных замечаний о засухе, пропавшем урожае или об оставляемых крестьянами деревнях. Всё шло согласно заранее продуманному сценарию, где не было места пустым разговорам и вежливым условностям.



Потом он задремал. О чём разговаривали пассажиры, пока он клевал носом? О своих делах или о сложном положении в стране? О том, кто был этот похожий на испанца чужеземец, ехавший вместе с ними? «Он говорит по-нашему, – шёпотом сказал водитель. – И у него с собой ничего нет, только бутылка минеральной воды». Впрочем, он не был уверен, что они вообще о чём-то говорили, пока он дремал. До порта оставалось немного, но плотные тучи закрывали равнину, за которой лежало море. Когда они начали спускаться по извилистой горной дороге, небо прояснилось. Пассажиры курили сигарету за сигаретой и выглядели усталыми. Он же, напротив, был очень бодр, и ему не терпелось как можно скорее оставить позади этот предпоследний этап его странствий. Оставалось пересесть на другую маршрутку, которая довезёт его к месту назначения, и он хотел оказаться там до захода солнца.

Всё получилось так, как ему мечталось. Другое маршрутное такси стояло с уже включённым мотором, и пассажиры, обречённо вздохнув, потеснились, чтобы он мог сесть. В такси ехали старики, женщины и дети; они украдкой поглядывали на него, но ни о чём не спрашивали. Казалось, одно его присутствие и непонятная цель

поездки сами по себе внушали уважение. Он предупредил водителя в голубой чалме, что попросит его остановиться посреди дороги, в нужном ему месте. Знал ли он название деревни? Там нет деревни, это пустынное безлюдное место. После его слов в машине повисло молчание, и он сделал вид, что разглядывает деревушки и отдельно стоящие домики, лепившиеся к подножиям гор. Он думал о репье с поломанным, искорёженным стеблем, увядшими цветками, раздавленными тяжёлой повозкой. Встреча, которую он так долго откладывал, была близка, и это будоражило его, заставляло сильнее биться сердце.

* * *



Они приближались к желтоватой каменистой пустыне, к мрачным, скалистым и неприступным местам. Огненный солнечный диск высвечивал причудливые очертания горной гряды, напоминавшей притаившийся за каменными укреплениями надменный, поражающий воображение путника город. Огромные каменные глыбы, пересечённые то тут, то там разноцветными горизонтальными прожилками, были похожи на пирамиды с блестящими гранями, и нигде не было никакой зелени. Очевидная геометрическая безупречность пейзажа наводила на мысль о том, что тут не обошлось без вмешательства искусного художника. Чуть дальше каменные прожилки образовывали совершенную по точности вертикальную композицию – казалось, что сотворивший эти места до мельчайших деталей продумал и просчитал цветовую гамму, соотношения размеров, учитывая при этом, что смотреть на композицию будут из низины, где проходила ухабистая дорога. Сколько веков ушло на то чтобы отполировать грани каменных глыб, согласовать между собой все объёмы, выткать хитросплетения различных планов, чтобы в неверном сумеречном свете образовался огромный амфитеатр?

– Остановите здесь.

Машина затормозила. Человек в голубой чалме обернулся и посмотрел на него.

– Вас кто-нибудь ждёт?

– Не беспокойтесь, у меня здесь встреча.

Пассажиры битком набитой машины разглядывали его с немым любопытством.

– Вы уверены? Последний автобус прошёл несколько минут назад.



– Я же сказал, не беспокойтесь, езжайте себе с богом.

Такси медленно, словно нехотя, отъехало. В эту решающую минуту он чувствовал себя так, как и ожидал. Он уходил налегке, при нём была только бутылка воды. Он внимательно оглядел каменистую равнину, где не было ни деревьев, ни кустарника – полное всевластие неорганической материи. Он вспомнил другие места, потрясшие его когда-то, но неожиданно они все слились в одно, сошлись тут, на этой земле. Ждёт ли его встреча с репьём, с малиновыми цветками, которые виделись ему на обочине дороги в Шатой? Он пошёл вперёд, к красноватому свету. Солнце собиралось скрыться за горами и постепенно погружалось в театральную величественность декораций. Он обходил крупные камни и рытвины, хотя змеи и скорпионы были ему уже не страшны. Солнечный свет становился совсем призрачным. Был ли Великий Бездушный одновременно и Великим Художником? В его смятённом сознании, окутанном сгущающейся темнотой, боролись два ответа – отрицательный и утвердительный. Потом тьма, а с нею и тишина стали непроницаемы. Он вернулся в лоно материи, сам не зная, как, почему, зачем, сколько он прошёл и как долго был в пути.

* * *



«Не засыпай раньше времени. Разве ты забыл, что мы должны встретиться?

(Уже несколько часов он угасал, обессиленный и продрогший, в полной темноте, и только знакомые с детства созвездия мерцали на небе, поэтому прогремевший голос заставил его вздрогнуть и открыть глаза.)

Перестань думать о квадратуре круга, лучше подумай о том, сколько тебе осталось, о том, что неудержимо перетекает в нижнюю часть песочных часов. Бывают люди, которые живут совсем недолго, но успевают ярко осветить всё вокруг своим огнём. Тебе были даны десятилетия, а ты с трудом вспоминаешь, каким ты был, сколько всего порушил и натворил. Но и Я не так памятлив, как вы считаете, и Я ничего не знаю о твоих предках, потому что они не оставили следа на земле, прожили пустую, бесцветную жизнь. Посмотри, как прекрасна ночь; подумай о том, что её красота повторяется каждый день. Ты вернулся в тепло материнского лона, которое тебе не следовало покидать. Но ошибка будет скоро стёрта, как это делается веками.

Ты уже забыл всё, что знал, и стал чужим в этом мире. Я тоже мало что помню. Только две-три размытые моментальные фотографии. Да, Я был на железнодорожной станции в Астапово, когда Толстой бежал на Кавказ, где он бывал в юности. Он так и не увидел больше репей, изуродованный сапогами солдат или копытами лошадей. Тебе повезло больше: ты дошёл до каменистой пустыни, которой так восхищаешься. Широких платьев и чёрной дамской шляпы той, которую ты уже забыл, никогда не существовало. Песчаные розы покоятся вокруг твоей колыбели. Если ты проснёшься, ты не увидишь Меня, а если не проснёшься, – значит, всё кончилось.

* * *



Он проснулся и не увидел Его. Он понял, что никуда не выходил из комнаты, и выглянул в окно – посмотреть на апельсиновые деревья в саду. Была непроглядная темень, город спал. Он закутался и поднялся наверх, на террасу. Небо величественно блестело, приглашая разобраться в запутанном языке звёзд. Ни один голос не доносился с обезлюдевшей Площади – там тоже всё спало. Мелькали только размытые силуэты, дрожавшие от своей бесприютности. Тьма окутала горный хребет, но он знал – белизна его вершин проступит, как только забрезжит рассвет. Мир, скрытый за горным хребтом, упорно хранил свою тайну. Встреча перенесена – наступит день и поднимется занавес, и тогда он окажется лицом к лицу с головокружительной бездной. Но пока ещё он был среди зрителей, в партере театра.

Car il y a dans ce mond où tout s'use, où tout périt, une chose qui tombe en ruine, qui se détruit encore plus complètement, en laissant encore moins de vestige que la Beauté: c'est la chagrin.

Marcel Proust. *Le temps retrouvé*

В этом мире, где всё изнашивается и гибнет, одно разрушается быстрее всего, одно исчезает почти бесследно, оставляя по себе ещё меньше памяти, чем Красота, – это печаль.

Марсель Пруст. *Обретённое время*

*Марракеш, ноябрь 1996 – Танжер, август 2002*

## Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Пьер Гийота
**КНИГА**

Пьер Гийота пишет «Книгу» с 1977 по 1979. В это время он погружается в глубочайший психологический кризис. Центральная тема «Книги» – проституция – больше не привязывается к месту и времени, а пронизывает все континенты и эпохи. Гийота вводит телесные реакции в саму структуру языка, где трансформации подвергается лексика, синтаксис, грамматика, пунктуация, спряжения глаголов. Литературный опыт Гийота близок к творчеству Антонена Арто, мечтавшего о том, чтобы поэтический язык был «чем-то средним между жестом и мыслью», «речью, запечатленной до ее словесного оформления».

Габриэль Витткоп
**КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПАДАЮЩЕЕ ДЕРЕВО**

Габриэль Витткоп (1920-2002) говорила то, что думала, жила, как хотела, и умерла, как сочла нужным: приняв цианистый калий за два дня до Рождества – праздника, который она презирала. Холодные, мизантропические и блистательные книги Витткоп ее биограф сравнил с чудесным ядовитым цветком. Опубликованный посмертно роман «Каждый день – падающее дерево» – это портрет двойника автора, надменной и безжалостной Ипполиты, вспоминающей свою жизнь, озаренную гордым пламенем презрения к человечеству.

## Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Пьер Гийота
**ЭШБИ**

«Я написал пролог к «Эшби» в Алжире, за несколько дней до моего ареста. «Эшби» для меня – это книга компромисса, умиротворения, прощания с тем, что было для меня тогда самым «чистым», самым «нормальным» в моей прошлой жизни, прощания с традиционной литературой, с очарованием англосаксонской романтики, с ее тайнами, оторванностью от реальности, изяществом и надуманностью. Но под этой игрой в примирение с тем, что я считал тогда самым лучшим, уже прорастал и готов был выплеснуться мощный бунт «Могилы для 500000 солдат», подпитывавшийся тем, что очень долго скрывалось во мне, во всем том диком и «взрослом», в чем я не решался признаться даже самому себе, в этой грубой варварской красоте, таившейся в глубине моего прошлого».

Эркюлин Барбен
**ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРМАФРОДИТА**

Судьба Эркюлин Барбен (1838-1868), мужчины, которого двадцать лет считали женщиной, – загадочна и драматична. Автобиографические заметки Барбен являются не только уникальным историческим свидетельством, но и в высшей степени захватывающим чтением. Во Франции они были подготовлены к печати знаменитым философом Мишелем Фуко для первой части задуманной им серии «Параллельные жизни».

## Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют

Александр Ильянен
**БУТИК VANITY**

Светящееся здание «Бутика Vanity» теперь открыто для посещения. Пустующие этажи романа-с-ключом и романа-без-вранья, нового романа и петербургской повести Александр Ильянен заполняет прозой высокой концентрации, прекрасной ясности, хирургической точности – и давно забытого образца. Чтобы оценить возможности этой эфирной скорописи, не нужны навыки дешифровщика: так мог бы писать какой-нибудь пушкин-007 – обезьяна, тигр и француз в одном прозрачном флаконе.

Альфред Дёблин
**ПОДРУГИ-ОТРАВИТЕЛЬНИЦЫ**

В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.

**Издательства «Kolonna Publications» и «Митин Журнал» представляют**

Джереми Рид
**ИЗИДОР**

Роман знаменитого английского поэта посвящен Изидору Дюкассу, самому загадочному литератору XIX столетия, писавшему под псевдонимом граф де Лотреамон. Практически никаких свидетельств о жизни Лотреамона, произведения которого стали всемирно известны лишь через полвека после его ранней кончины, не сохранилось, и Джереми Рид реконструирует биографию автора «Песен Мальдорора». Рассказ самого Изидора Дюкасса переплетается с донесениями сыщика, которого отец героя, французский дипломат в Монтевидео, нанял для слежки за распутным отроком.

Джослин Брук
**ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА**

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя? Первое русское издание романа классика английской литературы Джослина Брука приурочено к столетию со дня рождения писателя.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в *Москве*:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» Новая площадь д.3/4
«Dodo Space» Рождественский бульвар, д. 10/7
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Проект ОГИ» Потаповский пер. д. 8/12, стр. 2
«Клуб 36, 6» Рязанский пер., д. 3

*в Петербурге:*
«Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
«Индиго» Невский пр., д. 63 А

*через Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Международная книга» mkniga.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

*на Украине:*
«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж
обращаться в ООО «Берроунз», тел. (495) 971-47-92

**Все книги нашего издательства можно заказать наложенным платежом в редакции на сайте kolonna.org**

Хуан Гойтисоло
**ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ**

Kolonna Publications.
Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301
Подписано в печать 16.05.2012 Тираж 800 экз. Заказ № 0433
Формат 70 x 100/32. Объем 3,5 п. л. Гарнитура itc Charter
Отпечатано в Котовской типографии ГППП,
403810, Россия, Волгоградская обл., г. Котово,
ул. Коммунистическая, 84